

И. И. Лажечников. Басурман
Главы из романа

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ЗАИМКА

*Тише едешь, даде будешь.
Пословица*

Полки делали самые малые переходы. Они не дошли еще до Клина, а охотники были уже под Тверью. Сотни этих удальцов, под воеводством Хабар, наводили страх на нее; то являлись в посадах с гиканьем и криком, с вестью о разорении и гибели, то исчезали в тверских лесах, унося с собою и следы свои.

Мало того что Хабар успел переговорить с тверчанами, которые были преданы Иоанну и куплены им заранее в собственных домах их; мало, что выведал все слабые стороны неприятельской засады: он переплыл Волгу и установил сообщение с войском, которое шло из Новгорода, под начальством тамошнего наместника. Возвратясь на правый берег, дал знать великому князю Ивану Васильевичу, что с своими сотнями московских удальцов берется взять Тверь. В помощь просил только Аристотелеву пушку. Так обнашивал Хабар-Симский ясного сокола, свою ратную удаль, вместе с достойными пайщиками ее.

Иван Васильевич, которого по всей справедливости можно было назвать медлителем, приказал через гонца сказать свое ласковое слово, первое Хабару, а второе всем охотникам, и известить их, что он идет. И пошел он по-прежнему черепаховым ходом. Первого, кто осмелился слишком громко роптать на эту медленность, великий князь московский пожаловал — построил ему на перекрестке дорог высокие хоромы на двух столбах с перекладиной¹. Афанасию Никитину снарядили такой же почет. Он готовился умереть с твердостью христианина, но лишь только хотели накинуть на него роковую петлю, его освободили и отпустили на все четыре стороны. Сделано ли это по просьбе Иоанна-младого или по собственному побуждению великого князя, неизвестно. Разумеется,

¹ ...великий князь московский пожаловал - построил ему на перекрестке дорог высокие хоромы на двух столбах с перекладиной. — Лажечников перефразирует слова известной народной песни «Не шуми, мати, зеленая дубравушка» о царском суде над добрым молодцем, которую приводит Пушкин в «Капитанской дочке». — Здесь и далее прим. приводятся по изданию: И.И.Лажечников. Басурман. Минск: Издательство «Мастацкая літаратура», Минск, 1985.

тверчанин побрел в противную от Твери сторону, чтобы не быть свидетелем пожара и разорения родного города. На дорогу бояре и простые воины снабдили его щедрыми дарами, а лекарь Антон бальзамом для рук, болевших от горячего олова, которым они были залиты. Кто встречал его, не слышал от него жалобы ни на великого князя, ни на судьбу свою. Молясь и за князя и за простых людей, а более за сохранение родного города от гибели, и славя одного господя, он поспешил в Москву доканчивать недосказанные сказки.

Великий князь московский обыкновенно располагал станы в больших селах. Тут останавливались с ним Иоанн-младой, дворчане, большой полк с государевым стягом, Аристотель с огнестрельным орудием и неразлучный касимовский царевич Даньяр. Этому он особенно любил и жаловал за верную, испытанную его службу Руси. На нем особенно хотел он показать, как выгодно татарам переходить под покровительство русского властителя. Прошло уж более недели, как полки выступили из Москвы. Было время дня, когда солнце гонит росу и прохладу утреннюю. День был прекрасный; все в природе улыбалось и ликовало появлению лета: и ручьи, играющие в лучах солнца, все в золоте и огне, и ветерок, разносящий благовоние с кудрей дерев, и волны бегущей жатвы, как переливы вороненой стали на рядах скачущей конницы, и хоры птиц, на разный лад и все во славу единого. Эта волшебная улыбка, это ликование природы растопили и железную душу Ивана Васильевича. Переехав речку за селом Чашниковым, он велел разбить шатер свой на высоте и полкам тут же, вокруг, расположиться заимкой. Он въехал на высоту, скинул свой коран (военный плащ) и сошел с лошади. Все это делалось с помощью различных дворских чинов: обряды наблюдались и в поле; и в поле хотел он казаться царем.

— Вот здесь построил бы я себе село, — сказал Иван Васильевич, любуясь окрестностью.

И было в самом деле чем любоваться.

Вообще надо заметить, что человек, по врожденной склонности к красотам природы — может быть, наследственной от первобытного жильца земли, — царь ли он или селянин, любит располагать свои жилища на красивых местах. Одна нужда, одна неволя загоняют его на безводные равнины, в леса, по соседству болот. В выборе местности для русских городов и царских увеселительных сел особенно заметна эта любовь. Иван Васильевич, любуясь живописною картиной, которую развернул перед ним великий художник, вспомнил свои села: Воробьево, Коломенское, Остров, свое Воронцово поле, где он встречал весну и провожал лето в удовольствиях соколиной охоты и прогулок по садам. Пока разбивали шатер его, он сел на складное кресло, которое всегда за ним возили. Вокруг него стояли Иоанн-младой и несколько ближних дворских людей. Между ними заметен был сутуловатый татарин, который свободнее других

обращался с великим князем. Это был касимовский царевич Даньяр, предмет особых попечений его [*Во многих грамотах того времени видна примечательная заботливость о его благосостоянии. (Прим. автора)*]. В виду их под гору бежали Андрюша и семнадцатилетний сын царевича, Каракача: один — тип европейской красоты, с печатью отеческой любви творца к своему творению на всей его наружности, другой — узкоглазый, смуглый, с высунутыми скулами, зверообразный, как будто выполз на свет из смрадной тины тропиков вместе с гадами их, с которыми смешал свою человеческую породу. Каракача поймал голубя и собирался разрубить его ножом; Андрюша вступил в борьбу за крылатого пленника: уступая татарину в силе, но гораздо сметливее и ловче его, он успел выхватить вовремя жертву и пустить ее на волю. За минутную ссорой последовала мировая, заключенная уступкою какой-то монеты, которая очень нравилась татарскому царевичу. Оба, сбросив с себя тяжесть вооружения, спешили освободиться от жара, их томившего, в студеной водах речки. Товарищество во дворе великокняжеском, куда они каждый день ходили, будто в школу, сближало их и заставляло забывать различие их вер и нравов (Каракача был еще магометанин).

— Отважные ребята! — сказал Иван Васильевич, обратясь к царевичу татарскому и художнику. — Будут знатные воеводы у сына моего, коли бог не даст мне самому их дожидаться.

Эта похвала навела удовольствие на лица обоих отцов.

— А когда ж окрестим твоего сына? — спросил великий князь царевича.

— Придет пора, будет время, батька Иван, — отвечал Даньяр. — Ты сам не спешишь, да здорово делаешь.

— По фряжской пословице, что меня Аристотель научил: «Тише едешь, дале будешь». Я и тебя не неволю. Отец твой и ты служили мне верно, хоть и некрещеные были. Ради спасения души молвил только о крещении.

— Глупо еще детко. Вот коли в чистом поле срубят две головки тверские, так батырь; пора крестить и жену взять.

— Добро! а я ему невесту готовлю, красота писаная! Будет одних лет с твоим сыном.

— Кто ж такая, батька?

— Дочь воеводы Образца.

При этих словах легкое содрогание пробежало по губам Иоанна-младого, Антон вспыхнул и побледнел. Иван Васильевич все это заметил.

— За нее отдам свое детко, — сказал царевич с видимым удовольствием. — Говорят, славная девка! тафьи вышивать умеет;

почерним ей зубки да выкрасим ногти, и хоть сейчас к нашему пророку Махмуту в рай².

Иван Васильевич очень смеялся этому назначению.

Шатер для него разбит, стража приставлена. Возле соорудили и походную церковь полотняную (в ней же постлали сперва кожу, а на ней плат, на который и ставили алтарь; когда ж снимали церковь, палили место под нею огнем). Великий князь вошел к себе в палатку с сыном, и все дворчане разошлись по своим местам.

Тверскую дорогу и поле с северной стороны оградили рогатками, телегами и стражей. Полки (были одни конные в тогдaшнее время) усеяли окрестность так, что шатер великого князя составил средоточие их. А как располагались тогда полки? что за заимки, станы были тогда? Просто разбивали шатер для каждого из воевод, тут же ставили воз с полковым стягом, близ него, на возах, огнестрельный снаряд, состоящий из пищалей, и пушки, если случались. Лошадей пускали табунами на луга или засеянные поля как попало; сами ратники располагались десятнями (артелями) в виду воеводы, варили себе в опанищах (медных котлах) похлебку из сухарей и толокна, пели песни, сказывали сказки — и все под открытым небом, несмотря на дождь и снег, на мороз и жар. Что им было до нападения стихий? Природой и воспитанием они закованы были от них в железную броню: Лошади, рожденные в степях азиатских, не хуже своих всадников терпели непогоды и довольствовались тощею пищей.

Грустен, мрачен лежал Антон в шатре Фиоравенти Аристотеля. Во время похода он старался заглушить голос сердца занятиями своего звания. Он углублялся в роци, опускался на дно оврагов, собирал там растения, которых врачебную силу уж знал, и те, которые неизвестны были в южных странах: эти готовил он в дар месту своего воспитания. Остановливался ли в деревне, тогда через паробка своего узнавал о ведях и колдунах, о которых слышал от Аристотеля, что они хранят врачебные тайны, передаваемые из рода в род. Некоторые из этих тайн успел он выведать с помощью ужасной власти великого князя или золота. Так, возвратясь к своим ученым занятиям, он, казалось, ставил крепкую, высокую ограду между собой и Анастасией, которой образ часто осаждал его. Предрассудки Образца, его отвращение к нему, воспитание, отечество, вера, множество других препятствий, около него роившихся при первой мысли о союзе с ней, приходили на помощь науке и рассудку, чтобы

² ...почерним ей зубки да выкрасим ногти, и хоть сейчас к нашему пророку Махмуту в рай. — Об обыкновении татарских женщин чернить зубы и красить ногти сообщает С. Герберштейн в «Записках о московитских делах». Пророк Махмут — Мухаммед (неправильно — Магомед) считается основателем мусульманства, ислама.

побороть чувство, которое его одолевало. Но когда Антон услышал имя Анастасии в устах нечистого магометанина — имя, которое он произносил с благоговейною любовью в храме души своей, с которым он соединял все прекрасное земли и неба; когда услышал, что дарят уроду-татарину Анастасию, ту, которою, думал он, никто не вправе располагать, кроме него и бога, тогда кровь бросилась ему в голову, и он испугался мысли, что она будет принадлежать другому. Никогда еще эта мысль не представлялась ему в таком ужасном виде. Так страстный любитель искусств, поэт-художник в душе, ходивший каждый день в картинную галерею поклоняться одной мадонне, видит вдруг, что ее продают с молотка. Вот уж неземную оценили торгаши; светские люди, презренные ростовщики, жида перебирают ее достоинства, находят в ней погрешности. Любитель отдал бы за нее все свое имущество, отдал бы себя, но он имеет мало вещественного, он сам нейдет в цену, и божественная должна принадлежать другому. В его душе отзывается уже крик аукциониста: «Кто больше?», с замиранием сердца видит он, поднят уже роковой молоток... В таком состоянии был Антон.

За что же он любил Анастасию?.. Он с нею никогда не говорил, а для такой пламенной, глубокой любви, какова его, мало одной красоты наружной. Конечно, мало; но он видел в глазах ее красоту душевную, пламенную любовь к нему, что-то непостижимое, неразгаданное, может быть свое прошедшее в мире ином, доземельном, может быть свое будущее, свое второе я, с которым он составит одно в той обители, которых сын божий назначил многие в доме отца своего. Расторгнет ли он это сочетание, этот брак двух душ, отдаст ли он другому свое второе я на земное поругание? Нет, этому не бывать.

Аристотель глазами отца видел, как быстрый румянец и необыкновенная бледность лица Антонова изменили тайне его сердца, когда великий князь заговорил о дочери боярина, как потом неодолимая грусть пожирала его. Встревоженный, он искал развлечь своего молодого друга и начал разбирать с ним характер Иоанна.

— Да, - сказал художник-розымысл, — *gui va piano, va sano* [*тише едешь, дальше будешь (итал.)*] — эту родную пословицу перевел я когда-то великому князю на русский лад. Иоанн много утешался ею, и не мудрено: она вывод из всех его подвигов. И потому хочу я выбрать ее девизом для медали великого устроителя Руси.

— Не слишком ли во зло употребляет он эту осторожную медленность? — возразил Антон, вызванный на поле рассуждений, от которого душою был так далек. — Ты сказал мне, что Иоанн хитрою политикой своей заранее все приготовил к покорению Твери. Мне кажется, судя по обстоятельствам, стоит ему только нагрянуть на нее страхом своего имени и войска, и тотчас достигнет цели, для которой он теперь тратит время.

— Сколько я понимаю его намерение, Иоанн желает, чтобы великий князь тверской догадался бежать из своей столицы, оставив ему без бою верную добычу. Тот ждет все помощи из Литвы и думает, что Новгород, недавно покоренный, не пришлет Иоанну своего войска. Этот, наверное, знает, что помощи Твери ниоткуда не бывать; словом своей железной воли он приказал Новгороду идти на врага, и, покорный этой воле, Новгород стоит уж с своей ратью у стен Отрочьева монастыря³. Может статься, великий князь, как ты говоришь, действительно рассчитывает слишком осторожно: не спорю — он рожден не воином, а политиком. Медленность, прибавь к этому и прозорливость, всегда удавались ему; все успехи его были следствием того, что он умел выждать удобное для себя время. Видно, он и теперь боится или не хочет променять на новые, неиспытанные орудия старое, которое ему никогда не изменяло. Недаром говорит Стефан, господарь молдавский: «Дивлюсь свату моему⁴: сидит дома, веселится, спит покойно и все-таки бьет врагов. Я всегда на коне и в поле и не сумею защищать земли своей». Да, он не суетится, не гарцует беспрестанно на бранном коне, не кричит о своих завоеваниях и намерениях, а готовит тихомолком, втайне, дела великие, которых исполнение изумляет других государей. «Удача! счастье!» — кричат его недоброжелатели или завистники. Удача?.. Она без гения может раз, другой увенчать государственного делателя, полководец ли он, советник царя или царь: но тот жестоко бывает наказан, кто понадеется на нее без других важных пособий. Нет, почти все успехи Иоанна принадлежат силе духа, твердости воли, уму хитрому, ловкому, искусству готовить для себя обстоятельства и пользоваться ими. История, конечно, причтет его к малому числу великих делателей, которые переменяют судьбу царств и устраивают ее на несколько веков. Имя устроителя Руси, конечно, принадлежит Иоанну. И когда б не жестокий нрав его, врожденный и усиленный воспитанием и местностью, то мы могли бы гордиться счастьем служить ему. Не нам, слабым смертным, пророчить его будущность: старость брюзгливая, болезненная, обыкновенно притупляет способности ума и усиливает худые склонности. Но какова б ни была она, Русь должна за все, что Иоанн сделал уж для нее, произносить имя его с благоговением. Если хочешь искать в его царствовании пятен — от них же слабость человеческая не избавляет ни одного правителя народного, — так строгая истина укажет тебе покуда на одно, и не бездельное. Это пятно не

³ Отрочьев монастырь — древний Отрочь-Успенский монастырь в Твери.

⁴ «Дивлюсь свату моему...» — Лажечников несколько изменил подлинные слова Стефана Молдавского, приводимые Карамзиным в «Истории государства Российского».

вытравить жарким оправданием людей, ему преданных; его не изгладят упрямые софизмы будущих умников и тщеславная сила их красноречии. Черное не сделаешь белым.

Увлеченный любопытством, Антон просил художника объяснить ему, за что строгая истина могла б призвать Иоанна к суду потомства. Аристотель спешил исполнить его желание.

— Что такое были для Руси монгольские орды? — начал снова Аристотель. — Двухвековая судьба, которая налегла на эту несчастную страну всею тяжестью своего могущества. Восток, переполненный своим населением, готов был внести вместе с ним стихии варварства, где б ему ни приглянулось. Ангелы божий спешили сделать из Руси оплот для Запада, в которой только что раскидывался цвет образованности и куда манили завоевателей богатые добычи. Итак, Русь была несчастною жертвой для спасения других. Когда назначение ее исполнилось, ей дана, еще до Иоанна, передышка. Иоанну готовилась слава освободителя своего отечества от двухвекового ига. Вот как это было: Ахмат, царь Золотой орды, с многочисленною ратью явился на Руси. По обыкновению своему, великий князь не дремал. В богатой сокровищнице своего ума и воли он отыскал надежные средства отразить ужасного неприятеля и приготовил их как нельзя лучше. Одушевление народа, уверенность его в победе, бодрость и сила войска, неискусные расчеты Иоанновых неприятелей, ошибки самого Ахмата, — все соединилось, чтобы ручаться за торжество Руси. И что ж? когда наступил роковой час ударить, когда сам Ахмат, видимо, колебался, наступать ли ему или защищаться, Иоанн упал духом — да, упал духом, это настоящее слово, — стал медлить, отлагать нападение. Правда, наступила для него решительная минута, потерять ли ему плоды своих побед, выигранных умом, или утвердить их, быть или не быть Руси свободной. Но в такие именно минуты и познается величие правителя народного. Когда он сам себе был лучшим советником в приискании великих мер, когда успешно, надежно приготовлены были эти меры, он приехал от войска в Москву под предлогом совещаний с матерью, с духовенством и боярами. Мать, духовенство, большинство бояр, голос божий — голос народа, убеждали его сразиться с неприятелем. Он не послушался тех, у которых приезжал просить совета, а послушался низких царедворцев, умевших пользоваться слабостью своего властителя; их тайные речи льстили его упавшему духу. Вместо того чтобы утверждать народ в надежде и бодрости, он только пугал его нерешительностью и резкими мерами обезопасить свое семейство. Враг был еще очень далеко: чего ж было ему опасаться за близких ему? Когда царь защищает права и честь своего народа на войне, царица должна оставаться с народом, залогом его спокойствия — по крайней мере до последней крайности, если у ней недостает духа умереть с честью этого народа. Напротив, Иоанн спешил заблаговременно отправить Софию, детей своих из Москвы

далеко, в северные области. Чудная политика, чтобы успокоить народ!.. Осталась в столице, в Вознесенском монастыре, мать великого князя, хилая старушка, и эта голова, клонившаяся ко гробу, служила народу порукою его спокойствия, около нее столпилось упование Москвы. Что ж было б, когда осталась София?.. Народ ожидал, что великий князь, по примеру Донского поспешит ехать к войску, а он спешил жечь посады, обвествив народ этим печальным знаменем, что ждет неприятеля в Москву. Присутствие его в войске, которое с нетерпением желало видеть его посреди себя, было лучшим ручательством за победу. Вместо того чтобы ехать к нему, он звал к себе — опять для совета! — начальника войска, князя Холмского, и сына своего Иоанна. В какое же время? Когда первый своим умом, мужеством, опытностью, славным именем победителя Новгорода был главною силою войска, когда второй, любимый Русью, был его душою. Оставить дружину в этот решительный, роковой час казалось им ужасным преступлением, за который они должны дать ответ богу, и оба исполнили свое дело: оба не послушались приказания Иоаннова. Льстецы великого князя обвиняли их, но сам Иоанн лучше понял их подвиг и свой проступок, — он не взыскал за ослушание и никогда не мстил за него. Наконец он прибыл к войску и тут старался быть вдали от места действия. Стал опять дожидаться — чего? Чтоб дух воинов утомился бездействием, потерял бодрость, и дождался. Войско бежало при первом движении Ахмата. Но провидение было на стороне Руси. Ахмат, думая, что хитрый Иоанн увлекает его в засаду, сам бежал; узнав же о разорении татарами его улусов, оставил вовсе Русь, чтобы защитить свои собственные земли. И это счастье, эти расчеты свыше, советники Иоанновы причли к его предусмотрительности, к его утонченным и переутонченным расчетам. Слова ничего не доказывают, если дела противоречат. Народ справедливее славил одну милость божию. «Не оружие и не мудрость человеческая спасла нас, а господь небесный»⁵, — говорил народ вслед за духовными пастырями, и говорил верно. История не панегирик: она скажет то же. Передаю это тебе не для того, чтобы омрачить величие Иоанна: устроитель своего государства и с этим важным проступком будет всегда велик в глазах современников и потомства [*Романист, может быть, не у места увлекся описанием Иоаннова проступка. Оправданием мне служить может, что я желал принести должную дань истине, водившей пером Карамзина при описании Иоаннова проступка, который защищает г. Полевой, без всяких исторических и логических доказательств. (Прим. автора)*].

⁵ «Не оружие и не мудрость человеческая спасла нас, а господь небесный...» — несколько измененные слова из летописи Львова, которые приводит Карамзин в «Истории государства Российского».

— Ну, кончил ли об Ахмате? — спросил кто-то резким голосом, пошевелив полу шатра.

Аристотель невольно вздрогнул и смутился: это был голос великого князя.

Полы ставки раздвинулись, и Иоанн, показав между ними свое лицо, подернутое иронической усмешкой, продолжал:

— Немало стою здесь, а только и слышу в речи твоей: Иоанн, да Ахмат, да Софья, и опять Ахмат, да Иоанн. Не трунишь ли над старыми грехами моими?.. Крыться не хочу, было время, и я оплошал, оробел, сам не знаю как. Кто этому теперь поверит? Правду молвить, и было чего бояться! В один час мог потерять, что улаживал годами и что замышлял для Руси на несколько веков. Господь выручил. Но... по нашей пословице, кто старое помянет, тому глаз вон. Оправь меня в этом деле перед немцем. Спи здорово, Аристотель!

С этим словом Иван Васильевич опустил полог и удалился, оставя собеседников в немалом смущении.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ПРОВОДЫ

Что привез-то я тебе, сват, дары.
Золотой ларец, в нем стрелы калены,
Гребешок-самохват в двух зубах.
Молодцу на подъем, посмотришь как в стекло.
Что гостинцем одним сердце потешу,
А другим-то гостинцем спать уложу.

Старинная песня

Войско Иоанново наводнило окрестность тверскую на несколько десятков верст. О прибытии его возвещено ударом огромной пушки — только одним; от этого удара лихорадка забила дома и сердца тверитян. Молчание, наступившее потом, было еще ужаснее: так лежащему на смертном одре природа дает минутный отдых перед его кончиной. Ночь одела город и окрестности своим мраком, но скоро последняя заискрилась в тысячи огнях, словно богатый парчовый покров, который готовят на знатного мертвеца. Что делала Тверь в эту ночь? Что делает несчастная, готовясь на вдовство, бессильная отнять своего родного, своего ненаглядного у врага всемогущего? Только рыдает и бьет себя в перси.

Утро следующего дня осветило сотни займищ московских, на полях встала безграничная колоннада дымов. Полкан-пушка⁶ выставил вперед широкую грудь свою; вот он громко приветствовал первый луч солнца, и его пробуждение отозвалось в посаде Твери; оно сокрушило несколько

⁶ Полкан-пушка — в старину орудия нередко имели прозвища, которые отливались на их поверхности: «Собака», «Барс», «Лев», «Китоврас» и др.

домишек и раздавило под одним целое семейство. Вслед за этим богатырем проснулись задорные ребяташки его и залепетали по-своему: подожди, Тверь, вот и мы зададим тебе нечестье, коли ты чести не знаешь. По крайней мере так толковали тверские смельчаки, приходившие поглядеть из-за крайних тынов посада на неприятельский стан. Они видели, как застрельщики-немцы утверждали пищали на станках и железных вилах, как ратники плели из хворосту осадные плетни и заливали их смолою, как десятни (отряды), вооруженные луками, бердышами и рогатинами, описывали Тверь серпом со стороны Москвы. Они видели все это и разносили по домам ужасные вести. «Не устоять Твери, — кричали по улицам небывалые юродивые, — жатва приспела, жнецы наготове». Черный ворон вместе с ними прокричал городу смерть на кресте Спаса златоверхого и на гребне великокняжеского терема. Не менее вешие, князья и бояре, тайные доброжелатели Ивана Васильевича, распускали между народом и защитниками Твери слухи о невозможности противиться силе московского князя. «Ударит грозный владычною рукою, так сровняет с землей; посыплет милости, что твое солнышко после дождя», — говорили они. Пришел день, и они явились к великому князю московскому с покорною головою.

Тверь была уж покорена без бою. Но великий князь ее, Михайло Борисович, и бояре, оставшиеся ему верными, хотели еще защищаться. Они заперлись с войском в городке, который с одной стороны омывала Волга, с другой — Тьмака; ворота заделаны, из костров (башен) выглянули пищали, зубцы перенизаны воинами, вооруженными смолой, камнем, стрелами. Твердыня, мертвая и живая, готова принять осаждающих кровавым гостинцем. Слабая защита, когда надежда отступилась от защитников и измена шепчет им на сердце роковое слово гибели!

Иван Васильевич стоял в деревне Кольцове, откуда мог видеть Тверь, как на ладони. Явился к нему Хабар-Симский за повелением. Он знал, что Михайло Борисович, дрожа за свою безопасность, а более — молодой супруги своей, внучки короля польского Казимира, собирается в следующую ночь бежать из городка. Хабар брался захватить их и в этом деле отдавал голову свою порукой.

— Что мне в них? — сказал Иван Васильевич. — Кормы заключенным мне и так накладны. Пускай бегут в Литву: изменники Руси изменниками и останутся. Отрезанный ломоть не прирежешь силою. Пустить Михаила Борисовича на все четыре стороны, знал бы Казимир, что тверской его приятель и сват мне не опасен. Тверь и без заложника будет крепка за мною.

И в этом случае расчеты его были верны. Наедине поговорил он еще что-то с Хабаром; разговор их остался тайною.

У Хабарова во всех заимках были приятели. Много чудного порассказывал он им о Твери.

— В одно ухо нырнул, в другое вынырнул, — говорил он, — и Спасу златоверхому успел поклониться. Удальцы тверчане продавали и покупали мою голову, да я молвил им: «Не задорьтесь, ребята, попусту, не надсаживайте напрасно груди; жаль мне вас, и без того чахнете: продана моя буйная головушка золотой маковке Москве, дешево не отдаст, дорого вам нечем самим заплатить».

— Ну, что, много ли полонил красоток тверских? много ли бочек выкатил на волю из тюрем боярских? — спрашивали московские удалые головы.

— Полонил я только одну красавицу, разумную думушку, — отвечал Хабар, — она шепнула мне любовное слово и вам велела молвить: родные-то мы, братцы, по святой по Руси, родные скоро будем и по батюшке Ивану Васильевичу. Приду я к вам, мои кровные, припаду к вашим ногам, примите меня, друженьки, во свою семью. Вам раскрою белу грудь мою: выроньте в нее семя малое, слово ласково разрастется широким деревцом. Снимете вы голову, не плачьте по волосам; помилуете, буду ввек вам рабыней-сестрой.

— На то и пономарь, чтоб к обедне звонить, а нам, ребяташкам, не в попы же идти! — возражали прежние товарищи Хабара-Симского. — Любо ль будет приходу, как станем зельем снарядным кадить, кистенем по лбу крестить. Попал ты, Хабар, в воеводы, не в уроды. Думушку ты постную из кельи взял напрокат; не твоя она, не срослась с тобой, дружок: слышишь, зашумела, прокатилась, и следок простыл. Дума-то твоя родная, молодецкая, что разгул буйного ветра в степях, что размашка сокола в вольных кругах: эта с тобой, словно берег с водой. Девица ль, вдова ль хороша, то и наша сестрица-душа; поцелуешь в уста — что хмелина твоя, поцелуешь в другой — сердобольник [*Так называют шиповник в Тверской губернии. (Прим. автора)*] что твой, а заглянешь в стопу, и горе за лоб. Ты, Хабар, воевода Ивана Васильевича, на коне боевом, а наш, протянувшись под лавкой, столом.

Так поменялись молодцы посылками на русский лад. Бочки меду, добытые в окружных погребях боярских, красовались в стане и глядели очень умильно на Хабара; речи товарищей разжигали в нем прежнюю удаль. Но он помнил свой обет отцу, свои обязанности, как воин отрядный, и отблагодарил друзей только одною красаулей.

От них зашел он в шатер Аристотеля. С ним должен был повидаться и поговорить насчет освещения будущей ночи. Живой рассказ его о веселой жизни в охотниках воспламенил молодого лекаря и Андрюшу: оба умоляли посыльного воеводу взять их с собой в ночную экспедицию. Хабар помнил услуги лекаря во дворе Палеолога и невольно любил его, несмотря на басурманство. По доброте души своей, сын Образца готов был на услуги всякого рода. Он согласился принять его в свой отряд, с тем, однако ж, чтобы Антон оделся и остригся по-русски. Этот вызов льстил

сердцу Антона: она узнает об этом преобразовании, она увидит его в русской одежде, думал молодой человек, дитя душою, и сам подал ножницы Хабару. Пали кольца его прекрасных длинных волос к ногам посыльного воеводы — и чрез несколько мгновений немец-лекарь преобразился в красивого русского молодца. Нашли для него доспехи, шлем, латы, меч-кладенец. Воинственный наряд так шел к нему, как будто он не скидал его никогда. Видно было, что он родился для ремесла воина и судьба ошибкою указала ему другое назначение.

— Ты берешь у меня обоих детей моих, — сказал розмысл Хабару, принеся позволение великого князя «молодым ребятам поохотиться», — смотри, береги их, как родных братьев.

На прощание подарил он каждому из них железных Яблоков, начиненных порохом, кто сколько мог взять, объяснив способы хранения и употребления их. Он только что их изобрел и назвал потешными. Яблочки эти должны были ужасно действовать на воображение наших предков, видевших беса во всяком орудии, которое превышало их понятие; сравнивая их с нынешними гранатами, можно догадываться и об ужасных следах, которые они оставляли по себе.

Кто посещал Жолтиков монастырь по дороге, провожающей Тьмаку, останавливался, конечно, не раз полюбоваться ее живописными излучинами. Вас не поразят здесь дикие величественные виды, напоминающие поэтический мятеж стихий в один из ужасных переворотов мира; вы не увидите здесь грозных утесов, этих ступеней, по коим шли титаны на брань с небом и с которых пали, разбросав в неровном бою обломки своих оружий, донныне пугающие воображение; вы не увидите на следах потопа, остывших, когда он стекал с остова земли, векового дуба, этого Оссиана лесов, воспевающего в час бури победу неба над землей; вы не услышите в реве потока, брошенного из громовой длани, вечного отзыва тех богохульных криков, которые поражали слух природы в ужасной борьбе создания с своим творцом. Нет, вас не поразят здесь эти дикие, величественные картины. Скромная речка, будто не смеющая разыграться, смиренный лепет вод ее, мельница, тихо говорящая, берега, которые возвращаются к дороге, лишь только забывшись немного, убежали от нее, лужок, притаившийся в кустах, темный бор, который то вздыхает, как отшельник по небу, то шепчет словно молитву про себя, то затянет томный сладкозвучный мотив, будто псалмопевец в божественной думе, перебирающий золотыми струнами своих гуслей; в виду два монастыря, жилище архипастыря, кругом глубокое уединение: все напоминает вам по вашему пути, что вы идете в духовную обитель.

Вот здесь-то, у самой дороги, провожающей речку Тьмаку, стояла во время, которое описываем, небольшая мельница (на том самом месте, где и ныне стоит она). Колеса молчали: тверчанам и окружным черным людям, занятым военною тревогою, было не до житейских забот — не до молотья

муки, когда в жерновах судьбы выделялась участь целого княжества. Было время к ночи, и потому единственные жильцы мельничной избушки, хозяин ее, старик седовласый, и мальчик лет двенадцати, приемыш его, немой, укладывались спать. Тишину их уединения нарушал только переговор речки, которая, с жалобой на свое заключение, слезилась кое-где сквозь плотину. Вдруг мальчик стал прислушиваться, замахал рукою и замычал. Слух немого был чрезвычайно остер; жалкие звуки всегда верно давали знать о приближении посетителя или прохожего. И ныне эти предвещения, заставившие старика выглянуть в окно, вскоре оправдались. Послышался топот конницы. Старик зажег лучину, и свет от нее, выпадавший из окна на левый берег речки, беспорядочно осветил толпу всадников. Один из них сошел с лошади и просил мельника голосом, не смевающим громко обнаружиться, чтобы он показал им дорогу через плотину. Просьба эта была немедленно исполнена, и всадники, которых мельник насчитал десятков до десяти, перебравшись через плотину, расположились на правом берегу Тьмаки. Болота и выкопанные между ними рвы охраняли с этой стороны от нападения неприятелей. Оставшиеся на левом берегу всадники, может быть до двадцати, засели на мельничном дворе и в самой избушке. Это была тверская дружина, которую князь Михайло Холмский (родственник московского воеводы, служебного князя Данилы Дмитриевича), один из вернейших слуг своего государя, почти неволею набрал и отрядил сюда. Ратники, ее составлявшие, пришли будто на погребальную процессию, и не мудрено: их нарядили не защищать своего князя в стольном граде, у гробов его венчаных предков, под сенью Спаса златоверхого, а проводить человека, который перестал быть их государем и добровольно, без боя, оставляет их на произвол другого, уже победителя одним своим именем. Не простившись подобру-поздорову с своими подданными, ночью, как тать, украдывая от них великого князя и святость всего, что с этим именем соединяется, он бежит робким изгнанником в землю литовскую, искони вражескую. Этим постыдным бегством не разрешает ли их присягу? Довольно и этой мысли, чтобы потерять бодрость. К ней примешались убеждения и подкуп Иоанновых доброжелателей, слухи о милостях, которыми сильный и богатый московский великий князь, неминуемый их властитель, станет осыпать тех, кто скорей перейдет на его сторону, и слухи о казнях, которые падут на упрямых и опоздалых. Не прошло часа, как большая часть их, один за другим, под разными предлогами, выбралась за кусты, направила путь свой вверх по левому берегу речки и в удобном месте перебралась в займища московские. Они потому только этого прежде не сделали, что из городу не было возможности перебраться туда безопасно. Какой-нибудь десяток храбрых воинов, оставшихся в кустах, не изменил покуда своему долгу. И была важная тому причина — сон их одолел. Они предались ему,

затрубя во славу князя Михаила Борисовича и Ивана Васильевича, без различия, кто кому приснился.

Голова этой дружины ничего не подозревал; он сидел спокойно в избе, обращая речь то к мельнику, то к сотским и десятским, которые с ним были, или прислушивался. К полночи поджидал он условного знака со стороны старицкой дороги.

— Что это, сынишка твой? - спросил он мельника, указывая на мальчика.

— Приемьш, батюшка. Вот в Оспожино говейно [*Успенский пост*. (Прим. автора)] минет три года, нашел я его в монастырском лесу. Словечка не выронил - знать, обошел его лесовик⁷. С того денечка нем, аки рыба. Ни роду, ни племени не обыскалось, так я ему, ведаешь, стал родной.

Тут начались рассказы тверских воинов о разных немых, которые такими сделались, потому что их обошел лесовик.

— А что, лесовик, с твоим хозяином ладят? - спросил опять голова.

— Грех молвить, помянуть его лихом не за что; да и нас не про что обиждать; палаты его брусяные бережем, бесчестья ему не кладем.

— Чай, в гостях у тебя, дедушка, бывал?

— Не без того, родимый.

— Сам зашел или ты позвал его милость? угостил ты его калачом или пестом? — смеясь спросил один из сотских, вольнодумец, esprit-fort [*вольнодумец (франц.)*] того времени, сидевший у самого окна.

— Не шути про него шуток, боярин, как аукнется, так и откликнется, — отвечал мельник.

В это мгновение что-то сильно заскребло у окна, и сотскому послышались тысячи шагов в лесу.

Этими звуками подрало по коже храброго воина.

— Смотри-ка, — вскричал голова, надседаясь со смеху, — на сотском лица нет, кошки испугался!

— На то и голова ты, что удалее нас, — отвечал с сердцем сотник, отодвинувшись от окна.

— Ну-ка, старина, — сказал голова, обращаясь к мельнику, — распояшься, расскажи-ка нам, как лесовик побывал у тебя в гостях.

— Пожалуй, коли это милости твоей в угоду. Было это в запрошное лето о Николе, с мостом, в ночную пору, хоть бы теперь, в добрый час молвить, в худой помолчать. Мороз был лютый, осерчал, аки голодный зверь, носу не высунешь на двор, так и хватает когтями; избушка моя то и дело надувалась да охала, словно кто ее дубиной по ребрам колотил. Час места спустя и поотдало малое толико. Откуда ни возьмись вихорь,

⁷ ...обошел его лесовик. — Согласно народному суеверию, лесовик (леший) «обходит» путников и лесников, заставляя их блуждать по лесу.

застонал, завертел, поднялась и метелица, аки рать конная скачет и гонит одна другую, али нити у проворной мотальщицы на воробе, не зная, с неба ли падает снег али с земли подымается, зги божьей не видать. Приемьш мой спал; мне было не до сна — того и гляди крышу снесет и по бревну животы размечет. Щепаяю себе лучину, а сердце так и ходит ходенем. Вдруг слышу, что-то сзади меня пахнуло холодом, инда поперек меняхватило; смотрю, стоит передо мной старик — высокий, седой, голова встрепанная, аки у сосны, борода по колено, не менее доброй охажки чесаного льну, белехонька, словно у нашего брата, коли суток двое безвыходно помелешь; глаза серые, так и нижут тебя насквозь, тулуп шерстью вверх. Нечего греха таить, язык отнялся, ноги словно кто их пригвоздил к земле. «Не бойсь, — молвил он, — зашел к тебе погреться; с той поры, как вырастил лесок, такой погоды не видывал». И стал он греться у печурки, растопырив свои костлявые пальцы. Погревшись немало-немного, учал собираться восвояси. «Спасибо, — молвил он, — николи не забуду твоего добра». С того времени, осударь ты мой, не видывал его. Только слово свое лесовик сдержал. Мужички, что ездят ко мне муку молоть, не нахвалятся добрым человеком: в непогодь встретит их у лесу да проводит до меня; у которого клячонка заартачится, лишь руку подложит к саням, так пошла себе, будто к ней жеребца припрягли. И дорожки-то ко мне всегда гладки да катки, словно по первому белопуту, и...

Вдали послышался стон и повторился.

— Не наши ль сторожа на большой дороге окликают нас? — спросил голова.

— Прискакал бы сюда посыльный, — сказал сотский.

— Посмотри-ка в окошко.

Сотскому стыдно было послушаться. С предчувствием чего-то худого отодвинул он волоковое окно и вдруг с криком отпрянул назад. Не один он, многие ратники, сам голова, видели, как посыпались искры в окно и выглянул в него седой старик с длинною белою бородой.

Никто не смел пошевелиться. Окно стояло открыто. Двух, трех мгновений не прошло, показалась опять ужасная личина старика. На этот раз он крикнул гробовым голосом:

— Убирайтесь вон отсюда, да через плотину! К моему лесу не подходить, не то косточек не соберете.

И скрылся.

Дрожь проняла воинов; казалось, и взглянуть боялись друг на друга, не только что подняться с места, так перепугал их лесовик. Они сидели на лавках, словно омертвевшие.

Вслед за тем покатился кубарем огонек и захохотал, будто сотни ведьм на шабаше. Казалось, по лесу деревья ломались. В стену так ударило, что стены задрожали, косяк у окна разлетелся в щепы и осколком

своротило лицо у одного ратника. Тут бросились все вон из избы, на ногах, на четвереньках, падая друг на друга, перелезая друг через друга, бросались на двор за лошадьми, толкались с теми, которые спали на дворе, и, встревоженные со сна, выбегали куда попало, хватались за первую лошадь, какая попала, брались за узду, за хвост. Перепуганные лошади кидались со двора на плотину, в лес, с грохотом падали в воду; хозяева их, стеснясь на плотине, толкая друг друга, падали туда ж. Суматоха была ужасная. Дружина, лежавшая на правом берегу речки в кустах, также переполошилась. Не зная, что за тревога, бежали на плотину, сшибались с встречными, от страха рубили друг друга и по воздуху. Вслед им лесовик сверкал своими огненными очами то в одном месте, то в другом; пламя сыпалось кубарем, ранило, мертвило бегущих; адский хохот рассыпался за ними и перекачивался по водам и лесу в сотнях отзывов. Через несколько минут от дружины, которая должна была охранять проводы великого князя тверского, осталось на мельнице и в окружности ее, на несколько сот человеческих сажен⁸, только с десятков раненых, убитых, утопленных в реке, погруженных в болота. Прочие все подобру-поздорову уплелись прямо к великому князю московскому. Во время своего бегства видели они, как в разных концах Твери зажглись огненные языки и начали перебегать по кровлям; они слышали, как пушечные громы порывались все более и более в посадки, и поднялись вопли набата. Скоро присоединились к этому отпеванию тверского княжества крики осаждающих и стоны народа.

Кругом мельницы наступила тишь. Но мельник, обезумленный всем, что видел и слышал, ни жив ни мертв, стоял все еще на одном месте, посреди избы, и творил молитвы. В таком положении застали его новые гости. Это были двое вооруженных молодцов; они несли торжественно на руках маленького лесовика и посадили его на лавку. Между ними начался такой смех, что они вынуждены были подпереть себе бока.

— Ну, спасибо, дедушка, пособил нам, — сказал маленький лесовик.

Старик ничего не понимал из этого явления и не знал, что отвечать.

— Исполать тверскому храброму воинству! — сказал один из пришедших ратников: — бежало от лошадиного хвоста.

Тут Андрюша (ибо это был он, опущенный белыми хвостами, которые отрезали на этот случай от двух лошадей и припутали ему на скорую руку к подбородку и на голову), тут Андрюша снял все атрибуты лесовика и явился перед мельником в своем настоящем виде. К этим неожиданным гостям присоединилось еще несколько десятков из удалой дружины Хабар-Симского, и пошли рассказы о том, кто и как действовал в этой чудной победе. Насмеявшись досыта и заплатив мельнику

⁸ Человечья сажень — древняя мера длины, измерявшаяся «распростертием рук».

лошадьми, которые остались на дворе, за повреждение избушки и за будущие похороны убитых, охотники спешили к другому делу. Андрюша и двое ратников, которым он был поручен, отряжены к Хабару с донесением об удаче; остальные присоединились к сотням, расставленным в лесу так, что по первому условному знаку могли собраться, куда этот знак призывал их.

Между тем Хабар-Симский с лекарем Антоном и несколькими десятками ратников делал свое дело. Они сняли два дозора (по-нынешнему пикеты), немногочисленные, стоявшие у выезда из посада затьмацкого и поближе к бору, и передали бежавших засаде охотников, которые, в свою очередь, приняли и проводили их порядком к Жолтикову монастырю. Перебрав смертные ступени по этой лестнице, тверские всадники на конце ее не досчитались у себя многих. Когда посыльный воевода убедился этими проходами и донесением Андрюши, что дружина московская обеспечена со стороны затьмацкой, он стал дозором с малым числом своих удалцов на том самом месте, у выезда из посада, на котором стояли сбитые тверчане. Отсюда закинул невод всадников по Тьмаку с одной стороны и по Волгу — с другой. Дорогой рыбке нельзя было ускользнуть. Ожидали тони богатой.

— Едут, — сказал Андрюша, которого отвага, ничем не удержимая, занесла ближе к посаду. — Я первый услышал, скажите это отцу моему и Ивану Васильевичу.

В самом деле, послышался бег лошадей, и вскоре несколько всадников заройлось в темноте и поравнялось с Хабаром.

— Кто едет? — вскричал он.

— Свои! — смело отозвался один из всадников.

— А вы? — спросил дрожащий голос.

— Твои провожатые, господине, — отвечал Хабар, догадавшись, что это был голос великого князя тверского, хилого старика, и свистнул посвистом соловья-разбойника.

На этот знак расставленная им цепь собралась около него в несколько мгновений. Темнота не позволяла различать лица.

— Ко мне ближе, господине, — сказал Хабар, — подле меня путь тебе чист.

Великий князь Михайло Борисович отделился от своих дворчан и подъехал под крыло Хабара, ведя за собою другого всадника.

— Ради бога, поберегите мою княгиню, — сказал он, — господи, прости мои прегрешения!

— Обо мне не беспокойся, — отозвался смелый женский голос.

К стороне княгини подъехал Антон. Таким образом, драгоценный залог был под мечами двух сильных молодцов, которые, в случае нужды, могли поспорить о нем, один с двоими. Дворчан великого князя окружила дружина Хабара. Холмский, ничего не подозревая, ехал в нескольких

саженях позади. Он беспокоился более мыслью о погоне из города и нередко останавливался, чтобы прислушаться, не скажут ли за ними.

Тронулся поезд; молчалив был он. Только изредка Михайло Борисович нарушал это молчание, умоляя ехать тише, чтобы дать ему вздохнуть, и творя жалобным голосом молитвы.

Лишь только стали они подъезжать к бору, загрохотали пушки к стороне московской, в городе ударили в набат и начали посадки освещаться.

Лошадь у Михаила Борисовича оступилась, но Хабар успел схватить ее за узду, поддержал ее — и тем спас великого князя от падения.

Предметы начали выступать из мрака.

Великий князь взглянул на своего спутника, взглянул на спутника великой княгини и опять на своего. Лица незнакомые, оба с мечами наголо, кругом его дворчан все чужие! Он обомлел: смертная бледность покрыла щеки его; несчастный старик готов был упасть в обморок и остановил своего коня. Молодая княгиня, ничего не понимая, смотрела с каким-то ребяческим кокетством на своего пригожего оруженосца. Она была в мужской одежде — прекраснее мальчика не видано, — но литвянка умела ловко выказать, что она женщина.

Перед Холмским развернулась вся эта ужасная игра: государь его был в плену.

— Мы в засаде, — закричал он, — други, выручим нашего великого князя или умрем с ним!

На этот голос дворчане вынули свои оружия и стали было выпутываться из сетей, которыми их окружили.

Хабар свистнул, и лес родил сотню молодцов.

— Не горячись попусту, князь, если хочешь добра и живота своему господину! — крикнул он, задерживая лошадь Михаила Борисовича. — Не проливай крови напрасно, побереги голову его; не то разом слетит.

Он еще раз свистнул, и другая сотня выступила из бору.

— Видишь, ваших ни одного, моих родятся тысячи, коли надо. Тверская дружина, что ты поставил на мельнице, вся разбежалась и передалась уже нашему великому князю. Ни теперь, ни вперед Михаиле Борисовичу нечего ждать от Твери. Знай москвичей: они умеют добывать честь и славу своему государю и, коли нужно, умеют провожать с честью и чужих князей.

Что можно было делать горсти против неравного числа? Последние защитники великого князя опустили оружие, князь Холмский склонился на переговоры.

Хабар оборотился к великому князю тверскому:

— Время дорого для тебя и бывшей твоей Твери, Михайло Борисович, — сказал посыльный воевода. — Видишь, как она затеплилась. Это пламя от гневных очей Ивана Васильевича; оно сокрушит дома

божий, дома богатых и бедных. Погаси это пламя, ты один можешь. Тверчане были твои дети: неужли отец, оставляя их, хочет от них проклятия, а не благословенного помина? Слышишь вопли их?.. Они на прощание молят тебя о милости: спаси жилища их, детей, жен, спаси их от неповинной крови и огня. Поставь вместо этих огней, что ходят по кровлям, слово милости, как свечу перед образом господя нашего.

В начале этих убеждений страх и нерешительность изображались на лице Михаила Борисовича: наконец, тронутый, он сказал:

— Что ж мне делать? научи.

— Вот что. Пошли тотчас с моим гонцом князя Холмского в Тверь и вели ему скорее, именем твоим, отпереть ворота городские великому князю московскому Ивану Васильевичу и бить ему челом от тверчан, как своему законному государю.

— С кем же я, княгиня останемся? — сказал робкий старец.

— Нас тебе нечего опасаться. Мы не в плен пришли взять князя тверского, а проводить с честью Михайлу Борисовича, шурина великого князя московского. В плену и без того довольно князей у нашего господина: Иван Васильевич велел тоже сказать тебе. Мои молодцы, сурожане и суконники московские, проводят тебя до первого яму и до второго, коли тебе полюбится. Выбери сам провожатых, сколько в угоду тебе. За один волос твой будут отвечать головой своей. Порукою тебе в том пречистая мать божия и Спас милостивый.

Здесь он перекрестился.

— Коли не веришь, я, Хабар-Симский, отдаюсь без оружия опациком [*зложником, аманатом. (Прим. автора)*] князю Холмскому.

— За Хабаря я поручителем, — сказал Холмский.

Кто на месте великого князя тверского, бездетного, безнадежного, окруженного изменою, в его старых летах, не согласился бы на предложение великого московского воеводы?

Скинув шапку и тафью свою, трижды осенясь крестом, венчаный старец, в виду зарева своего стольного города, передал дом святого Спаса и великое княжество Тверское властителю всея Руси. Трогательна была речь его, словно духовное завещание умирающего. Слезы текли по бледному изнеможенному лицу, и несколько раз рыдания прерывали ее.

Проезжая мимо Жолтиковского бора, вспомните, что под мрачным навесом его совершилась эта передача.

— Кабы у меня было поболее таких слуг, — сказал Михайло Борисович, обнимая Хабаря на прощание, — Тверь была бы крепка за мною.

Литвянка обратила голову, чтобы не показать слез, выпадавших из ее глаз, потом протянула руку Хабару в знак своего благоволения. Этот не поцеловал руки и сказал с гордостью:

— Не взыщи, у чужой господини руки не целую.

Покраснела княгиня до белка глаз, и дуги ее черных бровей сошлись от негодования.

— Ну, так мне эту хорошенькую ручку! — воскликнул Андрюша, слезши с лошади и сняв свой шлем.

Белую ручку подали ему с большим удовольствием и обняли пригожего воина-мальчика.

— Кто ж проводит нас? — сказала княгиня, обратив с живым участием на Антона огненные глаза свои.

Хабар спешил отрядить достаточное число охотников, которые должны были сопутствовать бывшему тверскому властителю до первого яма; сам спешил с Холмским в город, чтобы остановить разлив пламени и напрасное кровопролитие. Антон поехал с ними; пора было ему исполнять обязанности врача (об этом он едва ли не забыл). Он был очень рад, что избавился обворожительных очей Казимировой внучки, не опасных, но затруднительных. Вместо него неизбежный Андрюша напросился в проводники. Зато на первом привале в роще колена прекрасной литвянки служили ему изголовьем: утомленный, заснул он на них, как на коленях матери, сном крепким, сном ангельским. И жаркий, тревожный поцелуй не возмутил его чистых видений.

На другой день княгиня и князь убеждали Андрюшу проводить их еще верст с десяток. Он согласился.

Князь ехал в повозке, высланной к ним навстречу с первого яма. Княгиня ехала с Андрюшей верхом. «Прекрасные дети, конечно, брат и сестра!» — сказали бы вы, смотря, как они резвились, обгоняли друг друга, останавливались в рощах слушать пение птишек. Казиминова внучка забыла о потерянном царстве и, казалось, радовалась своей свободе, будто птичка, выпущенная из золотой клетки. В Твери сокрушало ее теремное заточение; все там было ей так чуждо; в Литве ожидают ее родина, друзья, родные, жизнь привольная. Мысль эта веселила ее, молодую, живую, еще гостью на пиру жизни.

Когда Андрюша прощался с изгнанниками, его уговаривали ехать с ними в Литву.

— Нет, — сказал он, — не могу, я русский.

Остальную повесть о покорении Твери доскажу вам словами историка [*История Государства Российского, т. VI, стр. 173. (Прим. автора)*]. «Тогда епископ, князь Михаила Холмский⁹, с другими князьями, боярами и земскими людьми, сохранив до конца верность своему законному властителю, отворили город Иоанну, вышли и поклонились ему, как общему монарху России. Великий князь послал бояр своих и

⁹ «Тогда епископ, князь Михаила Холмский...» — цитата из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина.

дьяков взять присягу с жителей, запретил воинам грабить... въехал в Тверь, слушал литургию в храме Преображения и торжественно объявил, что дарует сие княжескому сыну Иоанну Иоанновичу, оставил его там и возвратился в Москву. Через некоторое время он послал бояр своих в Тверь, в Старицу, Зубцов, Опoki, Клиn, Холм, Новгородок описать все тамошние земли и разделить их на сохи для платежа казенных податей. Столь легко исчезло бытие тверской знаменитой державы, которая от времен святого Михаила Ярославича именовалась великим княжением и долго спорила с Москвою о первенстве!»